
Алексей Климов
США

КОЛЕБАНИЯ ВЕКТОРА ИСТОРИИ
В «КРАСНОМ КОЛЕСЕ»

*Жизнь и творчество Александра Солженицына:
на пути к «Красному Колесу»: сборник статей / сост.
Л.И. Сараскина. М. : Русский путь, 2013. С. 72–79*

В дневнике, посвящённом работе над эпопеей «Красное Колесо», А.И. Солженицын записал, что твёрдое намерение создать роман о революции сложилось у него в ноябре 1936 года¹. Но, как известно, будущий автор был тогда искренним и даже пламенным последователем марксизма-ленинизма — доктрины, фундаментальной частью которой является строго детерминистский взгляд на исторический процесс: правоверный марксист не мог сомневаться, что Октябрьская революция в России закономерно вытекала из предшествующих ей условий и событий². Доказательством того, что для юного Солженицына именно этот аспект марксизма имел решающее значение, является его резкое несогласие с теорией исторического детерминизма, много раз высказанное в период «пересмотра ценностей». Лев Копелев, товарищ писателя по Марфинской шарашке (1947–1950), в своих воспоминаниях подчёркивает: Солженицын говорил ему, что он «раньше верил основным положениям марксизма, а потом стал всё больше сомневаться. Потому что не мог верить историческим анализам тех, чьи прогнозы оказались ошибочными»³.

А когда Копелев, бывший в то время правоверным коммунистом и защитником Сталина, старался убедить Солженицына в неизбежности революции и победы большевиков в Гражданской войне, то Солженицын, по словам Копелева, «взрывался». Возражения Солженицына Копелев передаёт так: «А кто её доказал, эту историческую необходимость? А что, если бы Корнилов одолел трепача Керенского? Если бы красновские казаки разогнали съезд Советов, расстреляли Ленина и Троцкого? Ведь такая возможность была. Значит, получилась бы другая историческая необходимость?.. А почему это нельзя применять в истории сослагательное наклонение? Кто запретил? Ведь Александра Второго могли бы и не убить? И тогда вся внутренняя политика пошла бы по-другому»⁴.

Приведённые высказывания можно назвать аргументами в пользу открытости истории. Но если в период заключения в шарашке эти мысли выражали освобождение писателя от гнёта неизбежности, присущего марксистскому видению мира, то в «Красном Колесе» эти же соображения приобретают совершенно другой колорит — преимущественно трагический. В сильно упро-

щённой форме это можно было бы выразить так: от подчёркивания свободы действия мы переходим к горестной констатации, что те, на ком лежала главная ответственность за сохранность России, свободой этой распоряжались из рук вон плохо. «Красное Колесо» с болью и скорбью повествует о разительной неадекватных и просто безответственных действиях власть имущих кругов, о беспомощной пассивности Государя в кризисных ситуациях вообще и перед лицом нарастающего хаоса в частности и о веренице событий, которые могли бы обернуться совсем иначе, если бы у штурвала стоял человек решительный и волевой.

Эту тему заострил Рудольф Аугштайн, редактор популярного немецкого журнала «Шпигель», в интервью с писателем в 1987 году. Аугштайн к этому времени мог прочитать немецкие переводы первых двух Узлов «Красного Колеса»⁵. Он неожиданно высказал Солженицыну недовольство по поводу — как ему показалось — слишком часто проводимой в эпопее мысли типа «к сожалению» как в описании бездействия царя и оценке неэффективности правительства, так и в целом ряде других случаев. По мнению Аугштайна, вся мировая история состоит из вариаций на тему «к сожалению» и нечего, мол, придавать этому такое значение⁶. Солженицын возразил, что таких высказываний *от автора* в тексте вообще нет, хотя ряд персонажей действительно выражаются в этом духе. Но Аугштайн настаивал на своей правоте и в заключение заявил, что вообще всё мировоззрение автора сводится к сплошному «к сожалению» («Die ganze Weltsicht des Autors ist ein großes “leider”»)⁷.

В своём ответе писатель, не принимая общую оценку Аугштайна, соглашается с его характеристикой тона: «Не забывайте, — сказал он, — что я описываю не просто какой-то кусок жизни нашей страны — а самый несчастливый. И все участники видят, что это несчастье, и не могут исправить. Да, “к сожалению”»⁸.

Однако этот общий тон эпопеи далеко не однороден. И хотя все события, изображённые в «Красном Колесе», так или иначе окрашены чувством приближающейся катастрофы, исторический процесс представлен по-разному в четырёх Узлах.

Узел I, «Август Четырнадцатого», сильно отличается от последующих ввиду подчёркнутой полемики с философией истории, изложенной в «Войне и мире». У Толстого, как известно, ход истории представлен в фаталистическом ключе, как плод неких непостижимо-стихийных сил, не подлежащих влиянию отдельных человеческих усилий. В «Августе...», напротив, Солженицын выделяет целый ряд примеров целенаправленных действий отдельных лиц, от Столыпина до Богрова, самым кардинальным образом повлиявших на ход истории. В смысле конкретной полемики с Толстым особенно заметную роль играет самолюбиво рисующийся прусский генерал фон-Франсуа, ни на минуту не забывающий о том, как он будет запечатлён в истории. В художественном мире Толстого такое поведение было бы характерно для дутого ничтоже-

ства, лишённого значения в реальной жизни. А в «Августе...», наоборот, фон-Франсуа, несмотря на эти отрицательные черты характера, активно и успешно влияет на ход событий⁹.

Можно ещё указать на эпизод с сиделкой Таней, поначалу смотрящей на военные события совершенно в духе Толстого. Но, став прямой свидетельницей бесчестного поведения генерала Сирелиуса, открыто ищущего повод для своего трусливого отступления, Таня убеждается в существовании индивидуальной воли — в данном случае *злой* воли, — способной повернуть ход событий¹⁰.

Принципиальное несогласие с фатализмом Толстого, столь заметное в военных главах «Августа Четырнадцатого», присуще всему Узлу в целом. Вот как, например, выражены мысли Богрова, когда он случайно оказывается в двух шагах от Николая II, имея в кармане заряженный пистолет:

«<...> близ эстрады с малороссийским хором — вдруг оказался, притиснулся — в двух шагах от него — не в трёх, а в двух! Чуть сзади, вполузатылок, гладко подстриженный тёмный затылок под военной фуражкой, — и между головами приближённых — открытый прострел! И в кармане — браунинг с досланным первым патроном. В кармане на ощупь передвинуть предохранитель — вынуть — и бей! <...>

И — взорвать их сверкающий праздник весь!

<...>

Даже голова закружилась от своего могущества. Слабый нажим указательным пальцем — и нет ещё одного русского царя! И даже — целой династии может быть, всех Романовых — снять одним указательным пальцем! Событие мировой истории!» (8; 128).

А несколько позже Богров, уже арестованный после покушения на Столыпина, удивляется, как легко оказалось провести в жизнь своё намерение: «И как это в конце концов оказалось несложно — поворачивать историю: всего только получить театральный билет, миновать 17 рядов партера — и нажать гашетку» (8; 257).

Здесь и везде в «Августе...» Солженицын настаивает на значении волевого начала в реальной жизни, в этом отношении опровергая фатализм Толстого, равно как и исторический детерминизм Маркса. Индивидуальные действия, изображённые в основной части «Августа...», влияют на события по обычным законам причинно-следственной связи: точно указаны конкретные виновники поражений, срывов и горестей, которые переполняют повествование. Среди них — бездарные или трусливые военачальники, некомпетентные чиновники, трагически беспомощный царь, карьеристы всех мастей и представители болезненного разлада между обществом и правительством. Но благодаря точно указанной индивидуальной ответственности каждого из этих деятелей создаётся картина пусть прискорбного, но тем не менее рационально-понятного состояния России, для которой, казалось бы, исход исторического процесса

ещё не предопределён. И тем разительнее на этом фоне выделяется зловещий символический смысл, который Солженицын придаёт убийству Столыпина. Выстрелами Богрова, пишет он, на самом деле «<...> была убита уже — династия», а его пули оказались «первыми пулями из екатеринбургских» (8; 225). И позже, с горечью повествуя о неоправданном милосердии по отношению к чиновникам, чья небрежность привела к смерти Столыпина, писатель возвращается к этому образу: «Выстрел Богрова оказался — бронебойный и на-вылет» (8; 312).

На первый взгляд слова эти несовместимы с идеей открытости исторического процесса, которую отстаивал Солженицын в спорах с Львом Копелевым в 40-е годы. На самом деле, однако, противоречия нет, и мрачные мысли об обречённости династии восходят к вере в существование высшего, мистического уровня бытия. Воззрение это вовсе не мешает Солженицыну придавать кардинальное значение личным действиям, столь ярко отмеченным в Узле I. В «Красном Колесе» рационально-понятный уровень действительности, основанный на принципе причинно-следственной связи, существует одновременно с неким «метауровнем», на котором происходят таинственные и непредсказуемые сцепления индивидуальных актов, каждый из которых в отдельности понятен и соотнесён с конкретным действующим лицом. О том, что он считал вполне уместным совмещать сугубо рациональные аспекты истории с мистико-провиденциальными, писатель высказался в ходе интервью о «Красном Колесе». «Что именно двигает историю? — спросил его корреспондент. — Экономические законы, воля личностей, страсти масс, Провидение, рок?» Ответ Солженицына, вероятно, удивил интервьюера: «Ни одно из названных вами явлений не осталось без внимания»¹¹.

Узел II, «Октябрь Шестнадцатого», лишён драматизма и динамики событий, характерных для «Августа...». Вектор исторического движения колеблется в застое или же погружается вглубь, в многочисленные ретроспективные экскурсии. Ни на фронте, ни в обществе крупных сдвигов нет, за исключением пресловутой речи Милюкова. Царит тягостное затишье, до краёв наполненное, однако, гнетущим чувством неразрешимости набравшихся проблем и отравленное тёмными слухами о влиянии Распутина. И это тупиковое чувство многократно усилено главами, повествующими о мучительных личных драмах, переживаемых рядом действующих лиц. В первую очередь это относится к полковнику Воротынцеву, столь стремительному в мыслях и действиях в «Августе Четырнадцатого», но в «Октябре Шестнадцатого» выбитому из колеи бурным любовным увлечением, в результате которого он забросил свои политические намерения и безнадежно запутался в отношениях с женой. Богатая тематика семейных и любовных отношений, представленная в «Октябре Шестнадцатого», подробно рассмотрена в большой статье Андрея Немзера¹², и я хотел бы предложить только одно небольшое добавление. Не вложен ли в последнюю главу Узла II смысл, идущий дальше сопо-

ставления Зины с Воротынцевым, которое совершенно справедливо отметил А. Немзер?¹³ Нет ли здесь, в последнем эпизоде до бури, которая разразится в следующем Узле, иносказательного намёка на возможность очищения не только от страстей телесных, но и от страстей общественных? Иными словами, не есть ли это указание на возможность исхода *вверх*, независимо от направления вектора истории?

Узел III, «Март Семнадцатого», посвящён стихийному вихрю, которого никто по-настоящему не ожидал — ни правительство, ни прогрессивный блок, ни даже Ленин. И как записал Солженицын в дневнике, посвящённом своей работе над эпопеей, он сам тоже не ожидал той масштабности и значительности событий, которые открылись ему в процессе ознакомления с материалами, относящимися к Февральской революции. «Как я ни был готов к Февральской революции, но и я не понимал степени и неотвратимости *уже* произошедшей катастрофы, *уже* в первых числах марта. Начав свой замысел когда-то с Октябрьской, всё остальное считал прелюдией, которую писателю нельзя обминуть, — я, видимо, всю оставшуюся жизнь только и ухлопаю на эту “прелюдию”»¹⁴.

Если, по мысли Солженицына, революционный исход после событий, изложенных в «Октябре Шестнадцатого» был *возможен*, но отнюдь не неизбежен¹⁵, то после мартовских дней такой исход стал *вероятным*. Как Солженицын пишет в «Размышлениях о Февральской революции», его больше всего поразила почти мгновенная капитуляция правительства: «Кто же мог ожидать, кто же бы взялся предсказать, что самая мощная Империя мира рухнет с такой непостижимой быстротой? Что трёхсотлетняя династия, пятисотлетняя монархия даже не сделает малейшей попытки к сопротивлению? Такого прорицателя не было ни одного. Ни один революционер, никто из врагов, взрывающих бомбы или только извергавших сатиры, никогда не осмеливались такого предположить. Столетиями стоять скалой — и рухнуть в три дня? <...> Физическая мощь, какая была в руках царя, не была испробована против революции. <...> Не материально подался трон — гораздо раньше подался дух, и его и правительства. Российское правительство в феврале Семнадцатого не проявило силы ни на тонкий детский мускул, оно вело себя слабее мыши»¹⁶.

И вполне в духе рационального исследователя причинно-следственных связей он тут же предлагает ряд вполне убедительных психологических объяснений непротивленческого поведения царя¹⁷.

Но писатель на этом нисколько не успокаивается. Четыре статьи, составляющие «Размышления о Февральской революции», полны жгучей горечи об утраченных возможностях спасти страну от катастрофы. И невозможно не отметить, что само рассмотрение писателем так называемой «альтернативной истории», то есть истории в сослагательном наклонении, есть, конечно, дань вере — точнее, жажде веры — в открытость истории, несмотря

на интуицию какого-то непостижимо-мистического процесса, направляющего события.

В начале своих «Размышлений...» Солженицын пишет следующее: «Рассмотрение исторических вариантов иногда позволяло бы нам лучше охватить смысл происшедшего. Художники могли бы пытаться в развилках истории, с мерой доступной им убедительности, продвигаться также и по тропам, не выбранным историей, углубляя наше понимание событий повествованием с вариантным сюжетом. Но учёные запретили нам *conditionalis* в рассказах о прошлом, и мы не будем задаваться вопросом, что было бы, если бы...»¹⁸

Но поразительно: вопреки этим словам именно соображения в сослагательном наклонении составляют основную часть «Размышлений...»! Если бы царь уехал в Ставку на день или два раньше, если бы цесаревич был с ним, если бы... Но десятки этих возможных вариантов не реализовались по множеству причин, главной из которых Солженицын считает беспомощную близорукость и податливость Государя¹⁹. Но, хотя каждая из приведённых причин понятна сама по себе, их беспрецедентное нагромождение и их сцепление с вереницей несчастных случайностей неминуемо наводят на мысли о причинах другого порядка. Выше мы уже привели ответ Солженицына на вопрос о факторах, которые, по его мнению, движут историю.

В «Размышлениях о Февральской революции» писатель совершенно однозначно останавливается на одном из названных в вопросе причин движения истории — на Божьем Провидении. И он повторяет в несколько другой формулировке мысль, ранее прозвучавшую в Темплтоновской лекции: «Смута послана нам за то, что народ Бога забыл»²⁰.

В конечном итоге Солженицын остаётся полностью в русле классического христианского понимания истории. Вера в Божественное Провидение никогда не снимает с человека ответственности за свои поступки. Как выразился писатель в своём последнем интервью, «Бог никогда не лишает нас однажды дарованной свободы выбора. Мы творим свою историю сами, сами загоняем себя в ямы»²¹.

В Узле III Солженицын отмечает необратимый сдвиг вектора истории в сторону революции. Но следует подчеркнуть, что стихийная хаотичность революционных мартовских дней была признаком их неуправляемости: бушующие толпы были одержимы демоном разрушения в несравненно большей мере, чем какой-либо определённой политической программой. И поначалу не было человека, которого можно было бы считать лидером восстания. Поэтому в марте победа большевиков ни в коей мере ещё не была обеспечена. Но необратимость событий не подлежит сомнению, и писатель явно разделяет точку зрения своего персонажа Павла Ивановича Варсонофьева, когда тот сравнивает революцию с процессом плавления кристалла: невозстановимо разрушается структура и распадается связи между частями (16; 529).

Солженицын удивил многих читателей своим объявлением, что он намерен закончить свою эпопею Узлом IV («Апрель Семнадцатого») по причине того, что победа большевиков становится неизбежной уже на этом этапе²². По его мысли, сформулированной в предисловии к конспектам ненаписанных Узлов, не было «другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный» (16; 565)²³.

Об абсолютной неизбежности всё же, думаю, с Александром Исаевичем позволено не согласиться. Если не выходить за пределы видимого мира, речь в данном высказывании идет о статистической вероятности, и в этом плане спорить вряд ли приходится. Однако сам писатель в своём конспекте ненаписанных глав приводит панические слова Ленина, сказанные в дни провала июльского восстания, то есть через два месяца после последнего календарного срока, отмеченного в Узле IV: «Теперь они нас всех перестреляют» (16; 577).

Но этому не суждено было случиться. По случайному стечению обстоятельств или же по Божьему поущению.

Примечания

¹ См.: Солженицын А.И. Три отрывка из «Дневника Р-17» // Между двумя юбилеями (1998–2003): Писатели, критики, литературоведы о творчестве А.И. Солженицына: Альманах. М.: Русский путь, 2005. С. 9. (Запись от 18 июня 1965 г.)

² О взглядах Солженицына-студента см.: Сараскина Л.И. Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 146–150. (Серия «Жизнь замечательных людей».) См. также: Солженицын А.И. Интервью с Дэвидом Эйкманом (23 мая 1989) // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т.: Ярославль: Верхняя Волга, 1997. Т. 3. С. 337.

³ Копелев Л. Марфинская шарашка // Вопросы литературы. 1990. Июль. С. 92.

⁴ Там же.

⁵ См.: November sechzehn. München: Piper, 1986; August vierzehn. München: Piper, 1987. (Немецкий перевод первоначальной редакции «Августа...» вышел в 1972 г.)

⁶ См.: Солженицын А.И. Интервью с Рудольфом Аугштайном для журнала «Шпигель» (9 октября 1987) // Солженицын А.И. Публицистика. Т. 3. С. 306.

⁷ См.: Alexander Solschenizyn im Gespräch mit Rudolf Augstein // Der Spiegel. 26.10.1987. S. 237.

⁸ Солженицын А.И. Интервью с Рудольфом Аугштайном... // Указ. изд. С. 307.

⁹ См.: Темпест Р. Солженицын и Наполеон // «Красное Колесо» А.И. Солженицына: Художественный мир. Поэтика. Культурный контекст: Междунар. сб. науч. тр. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. С. 12–13.

¹⁰ Вот её мысли: «<...> от этой воли зависит судьба их госпиталя, всех уже раненых, и ещё тех, что могут быть ранены завтра <...>» (Солженицын А.И. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках // Солженицын А.И. Собр. соч.: В 30 т. М.: Время, 2006. Т. 8 (Август Четырнадцатого. Кн. 2). С. 51. Далее цитируется это издание с указанием в скобках тома и страниц; сохранена авторская орфография и пунктуация.

¹¹ Солженицын А.И. Радиоинтервью о «Марте Семнадцатого» для Би-Би-Си (29 июня 1987) // *Солженицын А.И. Публицистика*. Т. 3. С. 280.

¹² См.: Немзер А. Земной удел. Заметки об «Октябре Шестнадцатого» // (10; 537–578).

¹³ См. там же. С. 544–545.

¹⁴ Солженицын А.И. Три отрывка из «Дневника Р-17» // Указ. изд. С. 22. (Запись от 16 апреля 1976 г.)

¹⁵ См.: Солженицын А.И. Интервью с Рудольфом Аугштайном... // Указ. изд. С. 296–297.

¹⁶ Солженицын А.И. Размышления о Февральской революции // *Солженицын А.И. Публицистика*: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1995. Т. 1. С. 469, 467, 468.

¹⁷ См. там же. С. 468.

¹⁸ Там же. С. 458.

¹⁹ См. там же. С. 480.

²⁰ Там же. С. 502.

²¹ Известия. 2008. 11 декабря. Интервью с австрийским писателем Кельманном имело место в 2006 г. Русский текст был опубликован посмертно.

²² Данное намерение впервые было обнародовано в интервью с Рудольфом Аугштайном в 1987 г. (см.: Солженицын А.И. Интервью с Рудольфом Аугштайном... // Указ. изд. С. 304–305). См. яркий пример огорчённой реакции: Штурман Д. Городу и миру: о публицистике А.И. Солженицына. Париж; Нью-Йорк: Третья Волна, 1988. С. 428–429.

²³ Андрей Немзер весьма удачно выразил эту же мысль, отталкиваясь от образа разрушения кристалла, вложенного в уста Варсонофьева. Как предлагает Немзер в своём послесловии к «Апрелю Семнадцатого», вместе с «плавлением» старого режима происходит «кристаллизация будущей — большевистской — власти» (Немзер А. И свет во тьме светит // 16; 735).